

Всего два дня, а кажется, все сто.  
Так медленно восходит солнце в Нижнем!  
Так полнонебно! Пушкина пальто  
немного запылилось. Знойно-рыжий  
луч на окне. В гостинице, вот здесь,  
в её котле, в её глубоком чане,  
вы, барин, барин, просто почивали.  
А нам как быть? Откос, овраги, съезд  
кидаются с размаху под колёса.  
Не быть поэтом—это разве просто?  
О, правда ли, как под ружьё не лезть?  
О, правда ль, не давиться чтоб тоской?  
О, правда ль, не вмещать в груди чтоб город?  
Коль умираю каждою строкой,  
занёсшей надо мною жаркой молот.  
Наверно, лучше не поэтом быть,  
о, кто бы научил—не быть поэтом!  
Вот здесь, в гостинице,—два века лишь ходьбы—  
был Пушкин в день сентябрьский, в бабье лето!  
И в ночь сентябрьскую. Так долго почивать  
ужели сладко? Солоно? Рябинно?  
Широкая старинная кровать,  
и в доме пахнет ягодой, малиной,  
бараньим жиром, луком, чесноком,  
тулупом из овчины. Плачут дети  
у ключницы. Мы позже козырнём  
тузом и дамой пик. Поэт в ответе  
за этот Божий и пред-Божий мир.  
За христианский, доязыческий, дозвёздный.  
Но здесь, в гостинице,—гусаровый мундир,  
но здесь, в гостинице,—в слова спекались слёзы.  
Но здесь, в гостинице, как в чреве расписной  
кометы Галилея век от века,  
стекало, проникало, словно в пекло,  
в её огонь тугой, огонь сквозной.  
Я много раз бывала в городах  
различных и в гостиницах бывала.  
Но сердце чтоб выламывать вот так  
и город чтоб держать, кипящий шквалом,  
ах, не жалеемый, вы пожалейте, что ль,  
Истерзанный, вы не терзайте, что ли!  
Всего два дня. . .но жизнь, но смоль, но боль,  
о Господи, иной не надо доли!

Я не размениваюсь на обиды.  
Я не растрачиваюсь на них.  
Хочу, как солнце, кричать: «Гори ты!»,  
хочу Дантесом я быть убитой  
в российских рваных снегах живых!  
Хочу—как травы.  
Хочу—как рыбы.  
Хочу молчать. И не помнить бед.  
Пусть камни след—но какие обиды?  
Пусть раны в сердце—но в ранах свет!  
Опять же солнце. Опять же люди.  
Обиды—слабым, пустым, что дым,  
а мне прощение—как орудье,  
а мне любовь к не прощавшим им—  
мужчинам, женщинам. Мерить ссорами  
ужель возможно короткий век?  
Раздраем, сварями и раздорами,  
затмением, мщением и укорами.  
Уймись, бессолнечный человек!  
Уймись, обиженный и нанизанный  
на острый сабельный штык обид!  
Ты мной ушибленный укоризною,  
в тебе мой весь Арарат болит.  
В тебе все нити мои Ариадновы,  
в тебе, о мстительный, зуб за зуб,  
своей обидой навек обкраденный  
иль на два века—в соцсеть, в «Ютьюб»!  
А ты мне дорог. А ты мне люб.  
Пусть буду я эпицентром Дантовым,  
пусть все круги—я как есть вокруг.  
А китежградским тире атлантовым,  
нет, не присущ мне обид недуг!  
Вот сердце, сердце да в рёбра—вожжами,  
вот мысли, думы—в разрыв, клубя.  
..А я готова рубаху с кожей хоть  
отдать последнюю за тебя!  
И жизнь готова—бери всю, властвуя,  
себя готова—в горнило дня.  
Глоток последний воды ли. Яства ли.  
Прости меня!

Как хотелось бы всем мне ответить добром!  
Оплатить всем добром за добро и не только,  
чтоб добром—за все боли, когда в горле ком,  
пусть последней рубахой, последним куском,  
но соломку—под каждой размолвкой,  
и чтоб шёлком—ответить проклятьям вослед.  
Чтоб на двери закрытые, что предо мною,  
мне открытой калиткой ответить в рассвет,  
а не крепостью, башнею, Плача Стеною.  
Я платки бы расшила цветами, чтоб вы  
утирать могли слёзы, и стоны, и вопли.  
Эти кличи сквозь время и горе вдовы,  
Эвридиковы и Пенелопы!  
О, как мне б научиться людей утешать?  
Как умеет зверьё утешать—нате шкуры!  
Как рыбёха, что поймана на голыша  
на приманку и варится что не спеша,  
как лекарство, сбивает что температуру!  
Утешать, словно музыки сливовый сок,  
утешать, как полотна, как мягонький ягель,  
но меня покартинно всю Верещагин  
распрямил всю болью своей на восток.  
Вот бы бабочкой лёгкой, стрекозьею игрой  
или чем-то неслышимым, словно касанье,  
чем-то лёгким, изящным, ни целой горой,  
ни лавиной кипящей, ни чашей из камня.

Ни сама чтобы в камень! Но так невозможно...  
Ибо на баррикады, иль тешиться ложью.  
Шкурой под ноги—каждому!  
Мясом чтоб в супе,  
хлебом чтоб и водою. Перстом на распутье.  
Виноградом, что в чане (по мне пляшут ноги!),  
но добром отвечаю я в óгибь и проóгиб!  
Да, добром. Да, добром. Только им. Им—и всё тут,  
сколько раз—не считаю, хоть в первый, хоть в сотый.  
Отвечаю: таков русский крест, что несущая,  
может, тем вас спасу я взаправду, не всеу.  
Я пою заблудившихся, как и заблудших,  
ибо я заблуждалась, бульжников рюши  
тоже так же носила. Была не прощённой,  
не прощающей, мстительной, не отомщённой.  
Не жар-птицей, жар-птицей была, огневицей  
и орлицей, зегзицей,  
и плач мой был вплавлен  
в самый горький, безудержный плач Ярославнин!

Но пришло моё время, добром отвечать чтоб  
на всемирное зло, на всеобщую гибель,  
что потомкам и прадедам—  
словно причастье  
и как исповедь, как спаси Бог, как спасибо!

Полынно-цветастые тёплые дали,  
и марево леса, и зёрнышки поля.  
Не это ли всё предки мне завещали?  
Не эту ли долю, не эту ли волю?  
И глобус, и карту, где Русь—красным цветом,  
где белой зимою и радужным летом?  
Но вместо слова—у больницы старуха,  
огромное кладбище с видом на стройку,  
базар, где по-русски не имут. Опойки  
у мусорных баков. И слух, что без слуха.  
И зренье без зренья. И мальчик со скрипкой,  
глухой от рожденья.  
О, как мне смириться с такою ошибкой,  
где сломано всё, перекручено, где я?  
Затоплен Калязин, и вымер мой город,  
где я родилась. И мне стыдно. Так стыдно.  
Где я—как предатель наивный! Серп-молот  
в орла, что двуглав, переплавлен элитно.  
И царь мой расстрелян. И звёзды в гранитах  
размяты, разломаны, вынуты, крыты.  
Теперь звёзды—символ удобства гостиниц.  
Наследие где моё? Мамы гостиниц?  
Пуховые шали, носочки из шерсти  
и эта рабочая кость Демиурга?  
И Слово в начале без лажи и лести,  
и праздник отцовский мой, День металлурга?  
Кто с нами содеял так? Прочь драматурга  
из пьесы, театра по имени—правда.  
По имени родина. Лозунги дайте  
иные! Народу—земля и зарплата.  
Рабочим—работу. Культуре—культуру.  
А Каина в каинскую снова шкуру,  
в уста ему фразу: «Не сторож я брату!»  
Верните пятнадцать республик отъятых!  
О, мы отречённее всех, кто отрёкся,  
о, мы всех сожжённее тех, кто стал пеплом!  
И как мне хранить эти бури и ветры,  
И цельность, которая стала полоской,  
Коль я на слона экой маленькой москвой,  
коль я на чудовище—капелькой, веткой?..  
Одно упование—на небо весною!  
Оно не затоптано.  
Не подытожно.  
Его завещали родители тоже!  
Вот с этой целебной раной живою!